

Рассуждение 19 декабря 1922

„Екатерина Ивановна“.

Художественный театр.

«Екатерина Ивановна» сыграна. И ослепнула. Таковы лапидарные впечатления призрака спектакля.

Но отбрасывая этой формулой, конечно, нельзя. Нельзя сказать, что это был плохой спектакль. И потому, что он плохой, ему так-де и надо.

«Екатерина Ивановна», как и все в Художественном театре, ставилась под большим секретом. Никто ничего о пьесе не знал. Изобразить заране, так сказать, связаться, не представлялось возможным и, быть может, в потому кой-что и показало сразу слишком острым, слишком колючим.

Там, где, как вопрос из «Екатерины Ивановны» Андреев ставить ребром. Сразу, из вымысла болезненных надрылок. Съ чьим-то, если хотите, даже садическим.

Он хлещет свою героиню без сожаления. Хлещет съ любовью. Съ изнурением. Я уже указывал въ ночной записке, что въ области тела, там, где он свободен от туманностей смысла, Андреев открыл не психолога, а физиолога. Отиравой точкой он деляет не душевное явление само по себе, а голос тела, голос плоти и на нем расписывает уже психологический узор. И мы сравним въ этой области Андреева съ Ведеккиндом. И даже Екатерину Ивановну съ ведеккиндской Дулу («Дух земли»). Только Дулу — шире. Въ ней красота пожара. Въ ней извощенная душа разрушена. Она гордо шагает чрез трупы своих жертв.

Андреев видел бы въ этом идеализацию современной женщины. Он е ней горюдо худого мифа. Не голос протестующего тела видеть онъ въ ней, а попросту похоть. Божественную чувственность. Это основной мотив, по

его мифу, въ галлѣ переживаний современной женщины.

Она — нахтанка Мессаина. Но только древнее солнце погасло надъ головой ея. Краски истерлись и вылиняла. Тело обрываетъ и ушло въ корсетъ. Нить въ ней радости эллипсиса Гетеры, нить сибиря и дерзости. Она — наша женщина, — мертвая, сонная, вялая. И светъ она вокругъ себя такая же некая чувства, какъ некая она сама. Она увидеть соединить блудъ съ маской благочестия. Она жжетъ. И обнявша одного, уже отдается другому и думать о третьемъ.

И мистами становится больно за Екатерину Ивановну. Уже очень безжалостно къ ней авторъ. Уже очень воступленно глотитъ онъ ее. То начинаешь ненавидѣть ее, эту красивую кукулу, несущую намъ только одну сладость жизни, эту жрицу плоти и похоти, то просыпаешься жалостью и хочешь оттолкнуть автора и прихватить эту молочку. И чувствуешь, что въ эти моменты Андреев и достигаетъ вершинъ своей силы. Въ эти моменты онъ satisfies своими «красными свитками», своимъ мифототфелескимъ:

— Ха! ха! ха!.. До обреченных...

Я понимаю протестъ публики, особенно женской половины им. Встрѣе, умно себя объясняетъ его. Но я не согласенъ съ нимъ. Это протестъ будничней. Протестъ призрака. Протестъ отъ фразы и декорате.

Можно спорить. Не согласаться. Но нельзя пройти мимо такого большого полота, которое нарисовалъ Андреев, и отбрасывать правою пошлостью, приобритеннымъ въ насъ за три съ половиной. И уже указалъ, что въ бытовой части своего творчества Андреев физиологъ. Онъ — пингви. Читаетъ въ душе, въ художественномъ смысле этого слова. Онъ раздвѣиваетъ насъ. Онъ говоритъ — скиньте сюртукъ, расстегните

корсетъ, я я покажу вамъ, какіе вы уроды, какъ вы нежны и пошлы, какъ вы бесконечно стрѣны. Неужели за это надо висѣть? Неужели острый глазъ призрака большого художника не имеетъ права остановиться на насъ съ укоризной? Развѣ онъ обязанъ только мило улыбаться и рукоплещать вамъ? Или говорить о томъ лишь, что повертъ сюртукъ, что выставлено въ витринахъ.

Я понимаю консервативнаго зрительного зала. Мнѣ повиненъ протестъ. Но я не могу оправдать его. Видъ въ душѣ каждый изъ протестовавшихъ долженъ сознаться, что со слезы въ теченіе всего вечера его ослѣпляетъ красота большого таланта. Все то, что дала Андреев, было интересно, захватывало. Но это написано въ цинической манерѣ письма. Видъ призрака имъ геніальнымъ дивинимъ Достоевскимъ. Привали его въ кинѣ. Прознаемъ же его и на сценѣ.

Нельзя аплодировать рычконику «Прохонки» и висѣть «Екатерин Ивановнѣ». Пусть въ ней не все одинаково удачно, особенно во второй половинѣ, но это пьеса большого таланта и ослѣпого ума.

Это пьеса мифототфелескаго сибиря.

Говоритъ о томъ, что пьеса поставлена въ Художественномъ театре хорошо, — значитъ, ломится въ открытую дверь. Скажу больше — она поставлена скромно. И въ этомъ я вижу наибольшій плюс. Не давняя декорация. Не глаза наизовало въ глаза техника. Сравнительно молчаливые бутафоры и нашинности. И оттого играть было легче.

Нисколько замедленной темпъ въ «Екатерин Ивановнѣ», пожалуй, просятъ, во все же его уже слишкомъ растягиваютъ, особенно во второй актѣ, въ сценѣ объясненія Екатерины Ивановны съ мужемъ. Мистами торжествъ матери в глаза упрекаетъ въ провалъ, въ пустоту. Ответъ в атерѣ въ таинъ мистакъ весьма трудно.

Оригиналенъ финалъ второго акта — свинная въ публикѣ. Но зачѣмъ его повторять въ третьемъ и четвертомъ. Ударъ разъ, ударъ два...

Г-жъ Германовой (Екатерина Ивановна) режиссеръ, — его въ программѣ не указано, — даетъ очень узнъ статуарное тѣлозваніе. Она вся на позѣ в паузѣ. Нельзя этого дѣлать. Надо играть. Нельзя ремирку «сонная по

